

Публикуется впервые

Сколько раз, читая Генри Филдинга, Проспера Мериме, Дж. Гольсуорси, мой глаз отмечал: перевод Н. Вольпин. И была уверена, что это мужчина. А тут свела судьба меня с очень интересным человеком — Надеждой Давыдовной Вольпин-Есениной, той самой Наденькой Вольпин, которую любил поэт и которая родила ему сына — Александра Сергеевича Вольпин-Есенина, талантливого математика, известного организатора правозащитного движения, выдворенного из страны в 72-м и проживающего теперь в США. И узнаю от нее, что переводчик Н. Д. Вольпин — это и есть Надежда Давыдовна.

Надежде Давыдовне девяносто четвертый год. Представляете, без шести сто! Иду к ней на Аэропортовскую...

Прошу Надежду Давыдовну рассказать о себе. И на весь вечер мы отправляемся в путешествие во времени.

...Родители моих родителей были заводчиками. Мама была учительницей музыки. Отец — юрист. Крупный юрист. В споре Брокгауза и Ефона вел юридическую часть. Плевако обращался к нему за советом. Давид Самуилович Вольпин. Жили мы сначала в Могилеве, затем перебрались в Москву. Поселились в шестикомнатной квартире в Обыденском переулке. Неподалеку от Храма Христа Спасителя.

В гимназию меня отдали частную в Мерзляковском переулке к Елизавете Петровне Залесской. Гимназия была замечательная. Еще задолго до революции обучение там было совместное, мальчики и девочки занимались вместе. Отметок нам не ставили. Поэтому ни списывания, ни подсказок не было. Изучали три «живых» иностранных языка да один «мертвый» — латынь. Между учителями и учениками завязывались искренние, доверительные отношения. Эту гимназию, к сожалению, в 1912 году закрыли. Но всех, кто там учился, дружеские отношения связывали всю жизнь. И даже трагические события последующих десятилетий не могли размолотить это братство. Хоть рвались даже родственные узы. Помню, в одном классе с моей сестрой учились золотолосая восемнадцатая Инесса Арманд. Тоненькая девочка с голубыми глазами, с очень изящным, точеным лицом. После закрытия гимназии Залесской пришлось мне идти в гимназию Хвостовой в Кривоарбатском переулке. Я остановила свой выбор на этой школе, потому что там был «музыкальный» курс, то есть изучалась латынь, усиленная математика. Закончила гимназию в 17-м. Николай II уже отрекся от престола, произошла февральская революция.

Пока я решала свои студенческие дела, в стране политические события разворачивались стремительно. Была объявлена мобилизация. Собралася на фронт и мой старший брат. В Москве формировался студенческий отряд. Мы его называли «батальоном смертников». Мой старший брат и его товарищ Яков Рагинский были в него зачислены. До передовой это формирование не дошло.

— Надежда Давыдовна, я слушаю вас, и меня не покидает чувство, что все то же самое происходит с нами и сейчас...

— Да, очень похоже... Тогда, как и сейчас, в стране происходит смена формаций. Все трещит по швам, рушится, лежит в бездну...

Шла зима девятнадцатого года. Все-таки я не пропала и не умерла. Работу нашла библиотекарем в госпитале. Сняла угол у хозяек. Получила первый паек: кусок солонины, фунт муки, овечьи ребра. На против телеграфа, на Тверской, 18, расположился Союз поэтов, открылся кафе «Домино». Там можно было поесть дешевле, чем где-либо в другом месте. Стихи я начала писать еще в гимназии. Но не относилась к этому как к чему-то важному для меня. А тут в Союз поэтов можно было вступить, если придиши и прочитаешь свои стихи... Шла пешком через всю Москву, по сугробам: улицы не убирались. Шла в легких туфлях-самоделках, подошва — из картона, шляпка с полями. Конечно, робела, стояла, при克莱вшись к стене. Наконец решилась. Читала отрывок из поэмы «Нарцисс». Вадим Шершеневич, помни, сказал, что он не угадал ни одной рифмы. Потом уже мне рассказывали, что, когда я читала стихи, в дверях стояли Сергей Есенин и Анатолий Мариенгоф и о стихах отзывались одобрительно. В Союз меня приняли. И я стала каждый день бывать в кафе поэтов.

— А когда же вы с Есениным познакомились?

— Кажется, отмечалась вторая годовщина Октября. Я пришла в кафе с кем-то из своих друзей-«непоэтов». Идут выступления. Кто-то из распорядителей подходит к столику рядом с нами.

— Сергей, выступишь?

— Да нет, неохота.

— Нехорошо. Ты же на афише...

— А меня не спрашивали... Так и Пушкина можно поставить в программу.

Я набралась храбрости и, едва одолев смущение, обратилась к поэту:

— Вы — Есенин? Прошу вас от имени моих друзей... и от себя. Мы вас никогда не слышали...

Есенин встал, учтиво поклонился.

— Для вас — с удовольствием.

— А какой он был? Как держался? Как стихи читал!

Поднимается на эстраду. Руки сплещены за спиной. Но уже на втором стихе выбрасывает правую вперед — ладонью вверх. А голос высокий и чуть приглушенно звонкий и очень сильный. Подача стиха — по-актерски смысловая. Ни намека на подвыивание, ча-



ЕСТЬ ПЕСНЯ У СОЛОВУШКИ

стое в чтении иных поэтов (да же у Пастернака). Читал из «Иорданской голубицы» — «Мать моя — родина, Я — большевик», потом — «Песнь о собаке» («Утром в ржаном закутке...»). Так началось наше знакомство.

Однажды, когда мой друг, с которым я обедала в кафе, заторопившись, ушел раньше, к моему столику подсел Есенин.

— Не узнаете меня? — спросил. И осведомился: — Кто этот молодой человек, что сидел с вами?

— Молодой поэт. Недавно принят в Союз, мой молочный брат, — ответила я ложь и правду.

— Молочный? Обычно девицы в ответ на непрошено любопытство называют приятеля «двоюродным». А у вас молочный!

Завязался разговор. Есенин пошел меня провожать. С той поры мы часто встречались, разговаривали. Как-то он словно бы вскользь (на вопрос «почему пригорюнились?») сказал: «Любимая меня бросила. И увела с собой ребенка!» А в другой раз, месяца через два, сказал: «У меня трое детей». Однако позже горячо это отрицал: «Детей у меня двое!»

— Да вы же сами сказали мне, что трое!

— Сказал! Я? Не мог я вам этого сказать! Двое!

И только через четыре года, уже зная, что я и намерена одарить его ребенком, сознаваясь мне, что детей у него трое: дочка и двое сыновей, «Засекреченным сыном» был, по-видимому, Юрий Изряднов. От Кости он при мне никогда не откращивался.

...Мы с Надеждой Давыдовной на кухне пьем чай с фруктами.

Надежда Давыдовна помешивает серебряной ложечкой чай. А я все допытываюсь: какой же Есенин был вблизи? Она смеется:

— Вот и Наташа Кугушева (знает такую поэтессу? Моя подруга) все меня допрашивала. А я ей ответила: «Он очень умен!» Она возмутилась: «Есенин — сама поэзия, само чувство, а ты о его уме. «Умен!» Точно о каком-нибудь способном юристе... Не одной Кугушевой, так многим думают, что в Есенине стихия поэзии должна захлестнуть, что обычно зовется умом. Но он не был бы поэтом, если бы его стихи не были просветлены трепетной мыслью.

К концу второго десятилетия среди прочих «измов» былтовал в поэзии так называемый экспрессионизм. Его глашатаями именовали себя Николай Земенков и Ипполит Соколов. Этот Ипполит был странный юноша. Уже к весне 20-го он перестроился из поэта в критика и литературоведа. Свой артиллерийский огонь он направил на имажинистов. В первую голову на Сергея Есенина. Стоило Есенину что-либо прочитать с эстрады, вслед за ним вырастал перед публикой юный Ипполит. У Есенина, он уверял, нет ничего своего. Вся его система образов заимствована у немецкого поэта Райнера Марии Рильке. Он читает немецкие строки, потом дословный перевод и, наконец, строки Есенина. Кто-нибудь крикнет: «Брось, Ипполит, Есенин же не знает немецкого!» А Соколов упорствует: «Тем хуже. Значит, влияние здесь не прямое, а через посредственные и уже опошленные подражания». Ипполит договорился до слова «плагиат». Сергею об этом услужливо доложили. И он попросил передать Соколову, что если еще раз повторит подобное, то он, Есенин, «набьет ему морду».

Дня через два Сергей привел меня в кафе побеждать. Мы устроились в зале поэтов

— Слушалось вам, прямо глядеть в глаза смерти?

— Еще как! Не раз и не два. И я рассказываю, как старший брат, играя в войну, объявил меня японским шпионом (шла русско-японская война), поймал меня и... повесил. Из петли меня вынули едва живую... В другой раз за волосы вытащили из реки уже изрядно нахлебавшейся воды. Сестра уговарила: «Вон чьи-то волосы плавают».

Сергей слушал, утвердительно кивал. А потом рассказал, как в юности лежал в тифу, бредил. А мать открыла сундук, достала холст, скроила и стала шить.

— Сидит, слезы ручьем... А сама так живенько пальцами сунет. Шьет мне саван. — Помолчав, добавил: — Смерти моей ждал! Десять лет прошло, а у меня и сейчас, как вспомню, сердце зайдется обидой, кажется, век ей этого не забуду...

С тех пор он никогда не заговаривал со мной о той давней своей обиде.

— Вы очень любили Есенина? — решаюсь я на такой интимный вопрос.

— Это было очень сильным чувством. Тогда я даже не понимала, что это на всю жизнь.

— А Есенин любил вас?

— «Я — с «холодком», — любил он повторять. Верно,

дома у Дункан я побывала дажды. Длинный стол, пестрая рать пирующих. Люстра загнута альм. Сама Изадора — в огненно-красном. Вот она встает, пританцовывает на месте. И каждое ее движение прекрасно и выразительно. Если Есенин позволял себе пренебречь банкетом, как правило, Дункан сажала рядом с собой кого-нибудь из гостей. Когда пирующие станут расходиться, она пригласит избранника разделить с ней ложе. Это делалось в открытую!

Помню, незадолго до отъезда Сергея с Дункан, он разыскал меня в общежитии Коминтерна, где я в то время жила. Мы поднялись на крышу дома, чтобы уединиться. Стоим вдвоем у самой балюстрады, совсем низенькой.

— Если вас это повеселит, — говорю, — могу спрыгнуть вниз.

Сергей испуганно оттягивает меня к середине площадки. О чем мы тогда говорили, точно не помню. Сергей говорил: «Будешь меня ждать? Знаю, будешь». Была ли это просьба или заповедь...

Когда Сергей уехал за границу с Дункан, я была серьезна на болель. У меня начался процесс туберкулеза, и я перебралась к родным в Дмитров, маленький уездный городок неподалеку от Москвы. Там и узнала, что Есенин вернулся. Но в Москву не рвалась: дала себе зарок не возобновлять мучительную связь. Встретились снова случайно в какой-то редакции. И все мои «зароки» разлетелись в прах.

Уже в октябре 23-го, помню, в «Стойле Легаса» ко мне подходит Иван Васильевич Грузинов:

— Надя, прошу вас очень: уведите его к себе. Вот сейчас. (За них покачиваясь стоит Есенин).

— Ко мне? Насовсем? Или на эту, что ли, ночь? Как вы можете о таком просить?

— Эх, сами себе не хотите счастья! Не себя, так егооже!

— Но куда вести Сергея? В мой ледяной чулан? Я уже знаю, у меня будет ребенок. И мне надо очень беречься, если хочу его благополучно доносить.

Едем на извозчике. Поздняя осень.

— Почему у нас с вами с самого начала не заладилось? Наперекос пошло. Это ваша вина была, — уверяет Сергей. — Забрала себе в голову, что я вас совсем не люблю. А я вас любил. По-своему.

В феврале 24-го переехала в Ленинград (его уже переименовали). Поначалу остановилась у дяди, а поселилась у издателя Александра Михайловича Сахарова. Он жил женой и двумя мальчиками. Эта семья стала для меня родной. Есенин приезжал в Ленинград, выступал вместе с ленинградскими имажинистами. Мы виделись с ним. Он называл меня «кудивительной женщины».

— Я думала потом, чем же кудивительная — что ничего не требую, ничем не корю?

Но ведь я с самого начала так поставила: ребенок будет не тебе, не наш, а мой.

Летом 25-го вместе с Сахаровыми сняли дачу в Вырице под Ленинградом. Как-то Александр Михайлович приехал на дачу, вернувшись из Москвы, где виделся по издательским делам с Есениным. Все напевал новое:

Есть одна хорошая песня у соловушки,

Песня панихидная по моей головушке.

— Ну, Есенин, покажись, как ты есть!

Мой годовалый Александр Сергеевич с готовностью пошел на руки. А Александр Михайлович говорит:

— Сергей все спрашивает, какой он, черный или беленький. А я ему: не только беленький, я просто вот какими ты был мальчиконькой, таков и есть. Карточки не нужно.

— А что Сергей? — спрашиваю.

— Сергей сказал: «Так и должно быть — эта женщина очень меня любила».

— А о гибели Есенина вы узнали в Ленинграде?

— Нет, это известие настигло меня в Москве. Как удар в грудь. Я слегла. С трудом поднялась, чтобы жить дальше, расти сына...

— Надежда Давыдовна, а сын?

— ...приезжал недавно из Бостона. Пожил месяц. А теперь я туда собираюсь. Глаза лечить надо. Да и со слухом у меня не все в порядке: нужен аппарат. Полечусь — и снова за работу.

Вера МИАЕВА.

Фото из архива Н. Д. ВОЛЬПИНА.

поодаль от зеркальной арки — эстрада от нас не видна. Еда взялась за вилки, подлетает Захаров-Мэнский и вкрадчиво говорит:

— Ипполит уже завелся. Читает цитаты.

Есенин просит меня не вставать, а сам уже около эстрады. Ипполит отчетливо произносит: «...праймой пласти...» Но не успел закруглить свою тираду — раздается пощечина. Шум. Смятение. Кто-то требует общественный суд. Одним словом, скандал. Из кафе выходят втроем: Есенин с Грузиновым провожают меня Тверским бульваром домой. Сергей явно недоволен собой. А-тут я еще добавила, что Ипполиту, верно, нет и восемнадцати. Грузинов, добряя душа, меня одернула:

— Где ваша женская чуткость? Не видите, что ли? Он и так расстроен.

А Сергей храбрится, говорит, что поступил